

Даниил БЕНДИЦКИЙ

В СТОЛБИК С КРАСНОЙ СТРОКИ

Рассказ

Выпивку с закуской искал с прицелом на других.

Пиво в sixpacks, белое, красное, сидр, в стеклянном шкафчике джин, виски, коньяк (кто это будет пить у моря?), соки, кола, чипсы, орешки такие, сякие, далее сыры (застыли прибоем) – до сладостей не дошел.

Неопределенность ставила меня перед выбором: быть либо трусливым зрителем, либо сбитым летчиком. Какую играть роль, еще не решил.

Я вернулся к двери магазина и посмотрел сквозь нее на парковку. Но, черт дери – было ли это обыкновенным зрением или, скорее, неожиданной встречей, не знаю (трудно объяснить). Как говорил известный русский поэт Б.: когда-нибудь... на нашем месте... тоже что-нибудь такое, чему любой, кто знал нас, ужаснется – в Ростове была школа, теперь на ее месте построили магазин.

Я решил, что нужно действовать: сделать записи здесь и сейчас. Я стоял с тележкой, лихо-рабочно набивал в айфон перечень случившегося и, кажется, уже тогда выстрелил себе в ногу: записывал по памяти не прямые факты, а блуждал по литературовидным закоулкам (слонялся от образа к образу.) Эти свидетельства заведомо складывались в скрытый сюжет. Нет, не так – превращались в ловушки, которые едва ли сработают (оставлю айфоновскую опечатку: даже она становится чем-то вроде приговора).

Сижу в Берлине, разгребая.

В голове складывается фрагментарная композиция с второстепенными деталями, то мое время вытанцовывается кусками, рывками, а место как бы размытым (разрытым?). Незаконченная фраза где-то посередине заметок «первые шаги были...» явно подталкивает к началу повествования, но убей – не помню, что я этим хотел сказать:

– Дети шли друг за другом, широкая дорога извивалась, сливаясь с проходами-арками под бесконечно длинными пятиэтажками, затем растягивалась длинной финишной прямой, асфальт был мокрым и гладким, я вздрогнул от какого-то шипения, школьник на велосипеде прокатился по луже, он ехал с открытым ртом, жадно глотал воздух, небо обесцвечивалось, ветер скручивал ветку в бараний рог, на торцевых стенах школы сияла клинкерная плитка, бетонный фасад рассекали полосы окон с двумя створками, откидной внизу и поворотной сверху, перед главным входом ни массивного навеса, ни широкой лестницы, название свинтили (меняли?).

Я зашел.

Был понедельник, одиннадцатое сентября двухтысячного.

Совпадение с датой разрушения WTC (пусть хоть и за год до событий) сейчас мне видится вдвойне неслучайным. Во-первых, школа тоже будет разрушена. Во-вторых, если верить в якобы мистическую комбинацию цифр – 9/11, то и я, значит, могу смело приписать скрытый смысл своей считалочке – первый урок английский, кабинет на втором этаже, сел в третьем ряду, занял

Даниил Бендицкий родился в 1985 году в Нижнем Новгороде. С 2000 года живет в Германии. Окончил архитектурный факультет в Берлинском Университете Искусств (Universität der Künste). Журнальные публикации: «День и ночь», «Крещатик», «Берлин.Берега», «Рижский альманах», «Сетевая словесность», «Топос». Предыдущая публикация в «Волге» – рассказ «Берег левый, берег правый» (2023, № 11-12).

четвертую парту, оказался в восьмом классе вместо десятого, мне пятнадцатый год, двадцатым будет (бисер многоточия) хорошо, остановлюсь, пожалуй, на этом.

Дети притаились, гадали: чувак то ли с неба свалился, то ли вылез из-под земли. Учительница же к появлению инопланетянина будто готовилась – наконец-то появилась возможность тряхнуть стариной, вспомнить Старшего Брата. Поговорить на *język'e*, что еще недавно являлся – по определению – правдой.

После вопросов о том о сем англичанка неожиданно зашла с козырей:

– Скаши, пачьему ти уйехаль?

Будь я сегодня на ее месте, я бы заменил «уйехаль» на «приехал» (мол, что ты здесь вообще забыль, малшик?) – но тогда нужно было отвечать, а не подбирать за нее правильные слова для допроса – моя попытка признания оказалась до неприличия многословной: «ну, как сказать... видите ли... даже не знаю... в общем...»

Я думал о том, что бы еще добавить, и посмотрел в окно: возле школы летали огромные чайки, на стене соседнего дома я разглядел надпись – подсказку с одним неизвестным: значения слова *sowieso* я еще не знал, но «зовизо» догадался, что оно означает. Черной краской было написано: *Ihr werdet sowieso sterben.*

«Вы всё равно умрете».

Сообразив, что я подозрительно долго тяну с четким ответом, учительница попросила детей рассказать о себе по-английски: мальчики, словно сговорившись, сообщили, что они *like to play football*, девочки ни во что не играли, любили *to listen to music*. Что ж, по рукам.

Затем был урок истории. Учительница с ходу обменялась со мной классовым паролем: «мая мама работайт на фабрике», потом вывела на доске кириллицей: «венн ду дас лезен каннст, данн бист ду кайн думмер весси» (если ты можешь это прочитать, значит ты не тупой весси) и внезапно обрушилась на меня – потребовала перевести на немецкий фразу: «Нет, мы пойдем другим путем».

Ни перевести, ни сказать, чьи это слова, я не смог.

Очевидная политизированность урока меня не смутила, удивили исторические прыжки: под лозунгом восточно-немецкого ресентимента розовым мелом она прицепила к доске репродукции трех революций: Французской, Октябрьской и Немецкой – в этих событиях дети должны были найти какие-то параллели, общие свойства.

Мы скакали, как в известном стихотворении поэта Х., от причины к причине и своих же следов найти не могли.

Я пытаюсь ухватиться за образ истерички (тут должно быть слово «исторички», но автокорректор решил иначе), хочу опознать черты ее лица. Их, лиц, было два: большое – с идеально круглой формой, короткой стрижкой, близко посаженными узкими глазами, и другое – маленькое: вернее, это был взгляд, который изображал отрешенность. Второе лицо скрывалось за первым.

Сейчас, когда я перетасовал все записи, начинает вырисовываться хронологическая последовательность. Заметки выстраиваются в лестницу, которая ведет меня от начала к концу. Каждая реплика мне кажется важной ступенькой, хотя бы одну упустить значило бы, что я провалюсь и прерву связь времен.

Подражая известному реконструктору памяти, немецкому писателю S., в свои романы о пропавших жизнях и разрушенных городах вставлявшему фотографии, я делаю вид, будто держу в руках документ и тоже пытаюсь вшить его в собственный текст. Эта потребность в фиксации, точнее – использование свидетельств, по которым восстанавливается прошлое, становится рабочим приемом личного принуждения (так даже самому себе легче верится, что ли).

Я убеждаю себя в том, что наспех записанные в айфон слова считаются последней истиной. Они трансформируются в естественную часть истории, в ее несущие элементы – без них конструкция текста развалится. Смущает, правда, одно «но»: что бы изменилось, будь это повествование, составленное из фрагментов, придумано не в магазине, а дома, в тепле – тогда этот источ-

ник не прокатил бы? Связь со школьным *genius loci* из берлинской квартиры, а не среди полок с алкоголем и закуской – она какая-то другая?

И все же та магазинная оптика приводит к неожиданному результату: не только показывает бывшее, но и влияет на настоящее.

На большой перемене детям приказали: *An die frische Luft!*

«Выходим на свежий воздух!»

Мы выбегали во двор, разбивались на группки, тупили. Важным условием коллективного проветривания мозгов была тишина. Мы молча глядели друг на друга, дышали.

В эту картину как бы сбоку влезает точка моего наблюдения: я в магазине – передо мной стеклянная дверь, снаружи нацарапанная надпись на стекле – рассматриваю свое отражение. Это не то чтобы взгляд со стороны, скорее извне: я вижу себя в школе спустя столько-то лет, мне нравится думать, что и на школьном дворе, и по парковке гулял один и тот же ветер.

После воздушных ванн мы вернулись в класс, и я снова начал играть роль толмача, хотя правильнее будет сказать – известного юного волшебника-очкарика (вру – он станет знаменит только через несколько лет, но определенное сходство уже тогда наклеивалось).

Я пишу: от меня ждали открытия нового сорта развесистой клюквы. Слово «открытие» мне не подходит – ниже добавляю синонимы «изобретение», «находка» и «выведение». Еще ниже я приписываю другую растительность à la russe: говорил с учителем о цветущей черемухе в овраге (чего, конечно, быть не могло, откуда ему вообще знать, чья эта цитата?)

В своих заметках я жонглировал словами так и сяк, пока, наконец, не перескочил от биологии к химии – бывший профессор, оказавшийся в гимназии после сокращения в университете, вовсе забыл на предмет. Его волновало занимательное толмачество, граничащее с конспирологией. Он попросил сначала перевести, а затем объяснить тайную связь фамилий последнего советского генсека, первого русского президента и второго (нового).

Справиться с «елью» (*Tannenbaum*) и «путем» (*Weg*) было легко, «горб» (*Buckel*) я нашел в словаре, но для того, чтобы разжевать про нерушимый ландшафт с голым холмом, хвойным лесом и раздолбанной дорогой, мне не хватило кусочка мозга. Пришлось рисовать этот пейзаж на доске.

Урок химии превращался в исследование русских символов. Я ничего против не имел, но подозревал, что эксперименты добром не кончатся – быдловатый одноклассник наконец не выдержал:

– *Wir hassen Russisch!* («Мы ненавидим русский!»)

– *Dann hasse ich euer Deutsch!* («Тогда я ненавижу ваш немецкий!»), – вступился за меня оскорбленный русшишферштеер.

Кажется, я тоже обиделся. Захотел поверить в существование известного заговора. Что касается химии, то меня аккуратно предупредили: формулу источника жизни впредь не вздумай называть «аш цвай о», потому что «аш», точнее, «арш» (при произношении «р» проглатывается) – это «жопа». Запомни – только «ха цвай о».

Позже выяснилось – угодить в полную задницу было проще простого. Довольно быстро я стал замечать, что с моей речью происходят необъяснимые метаморфозы – грамотно сформулировать (и главное – без акцента произнести) хотя бы одно предложение ни на родном, ни на чужом языке не получалось, любая мысль натывалась на преграду, и тут я изобрел «шпрахоязык»: дословно переводил немецкие фразы на русский. Узус состоял наполовину из ляпов и предполагал лексическое вытеснение. Универсальный ответ был: «я панимаю тибя не».

Можно смеяться после слова «*Schaufel*» (лопата).

Я заново учился разговаривать: на *Russischunterricht* наверстывал упущенное. Забегаю вперед: спустя несколько лет мне рассказали историю, как при выборе второго иностранного языка учительница объясняла логику великого и могучего:

– Смотрите, дети, есть такое русское слово «лифчик». Из чего оно состоит? «Лиф» – это как наш *Luft*: представьте себе, как будто что-то наполняется, а «чик» – это когда что-то закрывается. Разве русские слова не логичны?

Интерактивное нижнее белье мало кого убедило – из трех классов по двадцать детей Russisch решили изучать шестеро. Я стал седьмым. Остальные выбрали lingua latina или fran ais.

Мода на великий и могучий бесследно прошла, потому-то deutsche Kinder от звукоподражательных славянских междометий и шарахались. Мне же в своих записях удается обойти стороной высоколобое определение «язык пространства». Я слабо понимаю, что оно означает, хотя профессия (архитектура) обязывает разобраться: описать все то, что было вокруг (стены, потолок, окна, двери) не получается, для них как будто не существует слов.

Сейчас я вынужден бить себя по рукам – нельзя искать в гугле фотографии ГДРшных классов и восстанавливать прошлое по чужим изображениям, нужно довериться источнику, созданному на месте – я пишу лишь, что стал частью мебели, врос в парту. Это все, что осталось. Понять не могу: то ли само пространство куда-то затерялось, то ли в нем затерялся я сам.

Впрочем, впереди меня осталась сидеть девочка Л., которая постоянно ко мне оборачивалась. Она посылала мне странные сигналы: я их слабо улавливал. Как разговаривать с дикарем, она не знала, и в мой первый день Л. решила воспользоваться проверенным бабушкиным методом – написала любовное письмо. Содержание из памяти напрочь стерто, но сейчас я не могу избавиться от соблазна всё опошлить, то есть приписать немецкой девочке русские мысли в духе: «Зачем вы посетили нас?» или «Я знаю, ты мне послан богом»; еще хлеще – вывести (за нее же) на том же клочке бумаги заветный везель Л. & Д.

После этого Liebesbrief (с расшифровкой мне помог карманный Langenscheidt) в голову совершенно ничего не лезло. Я оставил бумажку в кармане штанов и постирал ее в тазике вместе с другим грязным бельем. Отвечать на размытые доверчивые признания да невинные излияния мне показалось странным. До откровенного разговора так и не дошло, вплоть до абитура мы особо не общались. Можно считать, что мое молчание равносильно известному нравоучению.

(Спасибо классику.)

Здесь мне приходится вставить историю с небольшим налетом мистики (вжоу постфактум, нарушая главное условие повествования). Я никак не мог записать ее в магазине – она вырывается из контекста и живет сама по себе.

Я приехал в Росток на встречу с одноклассниками. Договорились, что каждый с собой что-то принесет. Я взял в магазине пиво и чипсы, Л. пришла со своим мужем. Муж оказался военным, говорил, что служил в Афганистане, все лицо в шрамах, его имя, точно помню, начиналось на N.

Это фантастическое совпадение с сюжетом из энциклопедии русской жизни привело меня в полный восторг, но Л. даже не вспомнила, как меня звали, в присутствии израненного мужа интереса ко мне не проявляла. Верхом пошлости было бы, конечно, если бы эту Л. я подкараулил и признался ей в любви, но я весь вечер скучал – выпил два пива и укатил обратно в Берлин.

Год спустя я вернулся к записям и вдруг прозрел: история первого учебного дня, которая вполне годилась для быстрого пересказа, совсем не туда разворачивается. Дело, как выясняется, не в реконструкции, а в разрушении памяти. Я перечитал несколько раз айфоновскую простыню и понял, что все время мучительно собирал из кусков пазла только лишь уничтожение школы.

Хотя нет, это был не пазл, а – как бы позаковыристее сказать, – метание дротиков. Я швырял в мишень обрывки фраз: одни попадали в яблочко, другие даже не долетали и падали. Сколько бы очков в этом дартсе я ни набрал – записи о разрушении школы так и остались головоломкой. Что тогда, в магазине, что сейчас, в берлинской квартире, я задаю себе странный вопрос: как описать разрушение, которого сам не видел?

Я выношу ушедшей эпохе пафосный вердикт: в моем балтийском городе никогда не было тайнств, время шло медленно вверх-вниз – мелкими волнами, бывшая Восточная Германия накрывалась медным тазом, единственным источником жизни было страдание, местное население настаивало на собственной второсортности и спорило о том, как бы поскорее уехать «на West», спасать было нечего, все наглухо заколачивалось, школы закрывались, мой класс до конца абитура одиноко шатался по коридорам и должен был выйти последним из горячей избы (автокорректор опять ставит подножку).

В айфоновских заметках я пытаюсь присвоить себе травматический опыт – постоянно прокручиваю в голове разрушение школы. Это навязчивое, как у известного психоаналитика, повторение в конце концов приводит к «нарушению покоя». Воспоминание о первом дне вытесняется моим собственным идеалом руин. Это полубредовое состояние имеет такую власть надо мной, что кажется, будто разрушенная школа – это реальность. Меня переполняет не столько чувство чего-то потерянного, сколько нежелание с этим потерянным расставаться.

Я отправляюсь в путешествие по трем этапам сноса здания. Смотрю из магазина на парковку и заставляю себя поверить в уничтожение школы. Попытка что-то разглядеть становится чем-то вроде wishful thinking.

Сначала территорию обносят забором, на стенах заброшенного здания я исследую граффити, замечаю в оконном проеме комнату, из которой еще не успели (забыли?) убрать классную доску, часы и карту Европы; эти предметы специально оставили, чтобы подчеркнуть, что их скоро тоже сровняют с землей.

Потом школа распадается на части, экскаватор цепляется ковшом за фрагменты, обломки с грохотом падают, гора строительного мусора шевелится, рабочие (поляки? румыны? нет, румын тогда в Германии еще не было) тушат из шланга облака пыли.

Наконец я смотрю на парковку, ожидая увидеть на ее месте пустоту, от школы не осталось и следа, по ней будто прошли катком, я нахожу в этом голом ландшафте табличку с описанием нового проекта, и меня тут же начинает раздражать эта моя псевдополемика с поэтом Б.: теперь так мало детей в Ростове, что мы сломали школу, дабы построить на свободном месте магазин, в такой архитектуре есть что-то безнадежное, хотя, быть может, это храм потребительства, он приносит больший сбор, чем знамена учения и прочее бла-бла.

В довесок к трем этапам сноса школы я продельваю еще одну безнадежную мыслительную операцию: мне втемяшилось, что русский поэт Б. и немецкий писатель S. сами не знают, как подступиться к разрушениям. Они не ностальгируют по уничтоженным зданиям, а говорят о невозможности их описания – разрушения превращаются в аллереорию, в них нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего: на месте руин непременно появится что-то новое, и это новое сотрет нашу память.

В эту недокрученную мысль вдруг врывается дед с тележкой. Этот «черный лебедь» гавкает на меня: чего встал у входа, здесь магазин, тыкайся в телефон у себя дома, дай пройти. Из-за пререканий (в эпоху ношения масок люди не разговаривали, а только орали друг на друга) мой руинный фетишизм вмиг исчезает, стеклянная дверь (мой бинокль) запотеваает, последующие записи автокорректор не распознает и подчеркивает красной пунктирной линией.

Кем или чем моя осведомленность о разрушении школы была сконструирована – дай ответ. Не дает ответа.

Я вышел из магазина с пивом и чипсами и разглядел на стене соседнего дома надпись: при переводе ее одним словом «фигня» смысл высказывания никак не менялся. Я уехал к морю на встречу с одноклассниками, а то слово забыл записать.